

# Все свои

*Без неймдроппинга*



*Силуэт фото из архива А. К. Жолковского*

Речь пойдет о старой, шестидесятипятилетней давности фотографии, которая ввиду неисповедимости путей копирайта может быть воспроизведена здесь лишь силуэтно, но вполне доступна в журнальном варианте этой виньетки<sup>1</sup>.

На снимке, не считая меня, восемь человек, и большинство более или менее чужие, а то и совсем незнакомые. На частый вопрос, кто девушка в мехах рядом со мной, я всегда честно отвечал, что понятия не имею, но доверия это не вызывало.

Снимок был сделан в январе 1955-го, то есть ему шестьдесят с лишним; в старом альбоме он уже сильно покособился от клея, и с ним самое время разобраться. Но начну все-таки не с него, а с шумной встречи нового 1964 года в большой московской компании, где, вот уж точно, все были свои. Настолько свои, что называть их по именам не буду (многие, в том числе и те, кто постарше меня, живы) — поупражняюсь в по возможности прозрачной перифрастике.

---

<sup>1</sup> См. «Новый мир», 2017, 2: 129; [http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6\\_2017\\_2/Content/Publication6\\_6554/Default.aspx](http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_2/Content/Publication6_6554/Default.aspx).

Этот новогодний рубеж оказался знаменательным и исторически, и для меня лично; нити тянутся во все стороны.

Наступал последний год оттепели. Не забуду, как 16 октября 1964 года моя возлюбленная, работавшая на Московском радио, где я уже дикторствовал на сомали, позвонила оттуда днем и с томящими захлебками и едва сдерживаемым возбуждением в голосе запела (сладостную округлость форм она сочетала с неожиданно высоким, как бы поставленным, сопрано): «Происходит такое... такое... не знаешь, верить ли... такое... в общем, разговор не телефонный... дома расскажу!..» Так я одним из первых полуузнал о смещении генсека.

Сама эта возлюбленная — вместо жены (и наряду с аспирантурой по сомали и работой на радио) — появилась в моей жизни тоже в 1964-м, частичным предвестием чего стала опять-таки новогодняя вечеринка.

В том же шестьдесят четвертом вышел этапный 8-й выпуск сборника «Машинный перевод», в котором был развернут наш семантический проект, причем программное *Предисловие* написал я, лишив привычной начальственной роли своего Учителя, имевшего к этой работе лишь косвенное отношение; таким образом я сделал первый открытый шаг к профессиональной независимости — и многолетней вражде, зато заслужил одобрение молодого, рыжего, чуть более старшего, но уже великого коллеги, приведшее к долговому соавторству. (На вечеринке его не было: светских тусовок он не любил, а праздник мог отметить в лесу, как говорилось, *под елочкой* — в палатке и спальном мешке с очередной избранницей.)

Новый год справлялся в огромной компании, преимущественно математической, но с щедрым филологическим вкраплением, отражавшим как общеоттепельный медовый месяц физики и лирики, так и более специальный штурм-унд-дранг матлингвистики. Хозяйкой и вдохновительницей этого сборища — столь мощного, что празднование проходило в ее квартире, а шубы, сапоги, подарки и все такое сваливалось в чьей-то еще, в соседнем парадном, куда некоторые отправлялись по морозному двору в поисках интима, — была высокая черноволосая дама-математик с вдохновенным лицом и уникальным, ибо мужским, именем (задолго до французского сериала «La femme Nikita»). Мы были знакомы шапочно, но я хорошо помнил, как давным-давно глазел на нее десятилетним подростком, которого она, конечно, не замечала, приехав вскоре после войны учиться на мехмат из Ташкента и поселившись на Остоженке, в квартире № 2, под нами, у своей тетки.

Среди гостей-филологов был, конечно, мой Учитель. Был также его именитый друг — переживший ссылку сын расстрелянного в год борьбы с «космополитизмом» еврейского поэта, филолог-классик (впоследствии специалист и по иудаике). Наше знакомство было лишь косвенным, потом он раньше других уехал — жил в Иерусалиме и в Женеве (где я однажды побывал у него в гостях), но сначала в Будапеште, женившись на тамошней филологине, с которой много лет спустя, уже после его смерти, мы непринужденно пофлиртовали на бабелевской конференции 2004 года в Стэнфорде (обоим было как-то не до романов).

Но тогда мифическая заграница маячила далеко впереди, за линией горизонта, а встречать Новый год он пришел с эффектной востоковедкой, о которой я был заочно наслышан. Незадолго до того ее муж умер от диабета в альпинистском походе, буквально на руках у моего кузена, который стал заботливо навещать оставшуюся с младенцем вдову, всячески ухаживать за ней сначала в одном, а затем и в другом смысле этого слова, прожужжал мне ею все уши, но взаимности у нее не встретил. Его среди гостей не было, а рыжеволосая востоковедка (рыжиной отливала и ее девичья фамилия) была; филолог-классик быстро набрался и по большей части дремал в соседней комнате, оставив партнершу на произвол судьбы.

Насколько серьезен был их союз, не знаю. В дальнейшем она вышла замуж за блестящего математика с внешностью киногероя, и я пару раз был у них дома — однажды совершенно нахрапом: позвонил всего за десять минут до того, как заявиться с дамой (дочкой крупного цековского работника, занимавшей меня скорее в социологическом, нежели сексуальном плане), преследуя двоякую цель: поразить хозяев, выдав свою спутницу за веселую девицу, только что подцепленную у метро, а ее — высоким классом своих знакомств.

Была там и видная чета лингвистов: она — структуралистка с логико-математическим уклоном и мастерица петь под гитару песни арбатского барда, он — будущий знаменитый академик, да и тогда уже выдающийся русист, в наступавшем году имевший ссудить мне денег на постройку квартиры, оставляемой жене (а в более далеком будущем — ныне давнем прошлом — послужить, по стопам отца-основателя структурализма и подобно филологу-классику, жевевским профессором).

Что касается оставляемой жены, то ума не приложу, была ли там она; наверное, все-таки да, как же иначе; а впрочем, в сентябре уходившего года я впервые съездил в Коктебель без нее, и хотя ни

к каким сексуальным подвижкам это не привело, отдых врозь говорил за себя. Кстати, назревавший и постепенно состоявшийся развод не был сугубо разрушительным: она вскоре вышла за моего тезку, известного диссидента (для чего с большим трудом прорвалась к нему в лагерь, где свидетельство о браке и было выдано — на мордовском языке); мы продолжали видеться, я подписал письмо в его защиту и был своим чередом уволен с работы. А годами позже он, высланный из Союза всемирно известный герой сопротивления, приехал в Штаты и по ходу выступления в университете, где я работал, но пока не имел постоянной должности, пригласил меня на сцену, и мы впервые в жизни, нескладно (я примерно вдвое выше ростом) и тем более театрально обнялись, после чего меня расспрашивали, каким образом я столь близок с мировой знаменитостью, и я в ответ только скромно улыбался, понимая, что павший на меня отблеск его величия напрочь снимает проблемы с *tenure*.

Если все это звучит чересчур многозначительно, то дело, конечно, в сверхзадаче моего нарратива, призванного отслеживать нити, ведущие назад, к началу оттепели, и вперед, к ее концу, да и ко всему последующему.

На самой вечеринке никакой особой политики не наблюдалось. Как писал андеграундный поэт, *Пили. Ели. Курили. Пели. Орали. Плясали. Сорокин лез целоваться к Юле. Сахаров уснул на стуле. Сидорова облевали...* Героями праздника были двое — я и новая в этой компании девушка с филфака, в синем платье, под именем «голубой девицы» (этот эпитет не нес тогда пряных гендерных коннотаций) не сходившая с уст большинства присутствовавших, в частности упомянутой четы лингвистов. Привел ее один из математиков, сравнительно молодой, тридцатилетний, но уже с брюшком и намечающейся плешью, — как бы на смотрины, что делало ее предметом требовательного, а то и откровенно циничного разглядывания посвященными.

Если ее обсуждали под этим углом, то мои пятнадцать минут славы были связаны с тем, что я оказался единственным в этом высоколобом обществе уже умеющим плясать твист — благодаря мимолетному знакомству со звездой советского и отчасти мирового тенниса, приемной дочерью чиновного музыканта, случившемуся в Доме творчества композиторов в Рузе, где я гостил у папы. Это была привлекательная, немного чересчур крепкая брюнетка, чуть моложе меня; держалась она, несмотря на чемпионство, мило, но ничего романического в наши уроки танцев вчитывать не надо. (У нее был сводный младший брат,

тогда подросток, а во времена перестройки — популярный телеведущий; я иногда и сейчас встречаю его в лифте музыкальной башни на Маяковке, где жил мой папа и, надо полагать, они со своими родителями. Родители тоже запомнились: отец, их общий, — внушительный, лысеющий, но с густыми бровями, и мать, ее, — актриса, стареющая красавица, с драматическими черными глазами, возможно алкоголичка или наркоманка, помню ее тревожно бродящей по территории ДТК.)

Желавших приобщиться через меня к таинствам твиста было много, не исключая рыжей востоковедки и голубой девицы. С востоковедкой таким образом завязалось многолетнее — отдаленное и чисто дружеское — знакомство, а с голубой девицей не завязалось ничего, хотя после одного из изматывающих сеансов твиста мы совершили совместную прогулку в другую квартиру: ей якобы потребовалось что-то из оставленной там одежды, я взялся показать дорогу, там мы, как водится, немножко пообнимались, но и только.

Вся эта ерунда шла своим чередом, пока часу во втором не прогремел слух, что вот-вот приедут еще какие-то гости, встретившие Новый год в другом месте, а теперь решившие — был такой новогодний обычай — отведать и нашего веселья. Прозвучало несколько ничего не говоривших мне имен, но среди них одно знакомое, одновременно очень революционное и традиционно татарское, всколыхнувшее воспоминания почти десятилетней давности.

В сентябре 1954-го я стал студентом филфака МГУ, в октябре умерла мама, и на зимние каникулы я решил поехать в студенческий дом отдыха «Широкое» — развеяться и покататься на лыжах. Папу немного беспокоила эта поездка «в люди», но возражать он, ввиду свойственной ему корректности, не стал, только пошутил, что академики ездят в санаторий «Узкое», а студенты соответственно в нечто противоположное, и я отправился. «Широкое» — это, кажется, на северо-запад от Москвы, в сторону Ленинграда, возможно на Валдае (может быть, оно вот тут: <http://putnik.ru/dosug/bolog/4.asp>). По приезде я был определен в комнату, где, к своему ужасу, оказался пятым лишним — малышкой-первокурсником среди теплой компании пятикурсников, да еще с другого факультета, исторического. Но перепугался я напрасно: они охотно приняли меня под свое крыло как неоперившегося юнца, которого надо похлопывать по плечу и не давать в обиду.

Вернемся, наконец, к снимку. Крайний слева — я; рядом со мной неизвестная девица; дальше один из историков (его узкой специальности не помню, а может не знал и тогда); потом опять неизвестная

(мне) девица; дальше в мужской шапке красotka-чешка (о ней речь впереди); следующий — рослый красавец-мужчина, специалист по Пакистану (слово «урду» я впервые услышал от него, а в какой мере на мой последующий выбор сомали повлияла эта востоковедческая бригада, никогда не задумывался, хотя, возможно, стоит); крайний справа — историк-китаист, медлительный увалень. На снегу сидит, валяя дурака с шарфом, рыжий курчавый весельчак — неоспоримый вождь всей этой компании, будущий вьетнамист и политолог, носитель революционно-татарского имени, ожидаемый на новогодней парти шестьдесят четвертого года гость с другой вечеринки; а рядом с ним опять-таки неизвестная девица — неизвестная мне, а возможно и ему, поскольку его официальной подружкой была упомянутая выше чешка (располагавший к этому чешский элемент наличествовал и в его фамилии). Но, если подумать, девиц на снимке ровно столько же, сколько истфаковцев, и свою наивную слепоту к проглядывающей из-за этого парности я могу объяснить только нежеланием осознать собственное одиночество. И правда, кого там нет, так это очаровательной студентки, имя которой охотно, хотя и без особых оснований, связывалось с моим — в порядке присмотра старших, и прежде всего весельчака-вьетнамиста — за салагой-новобранцем.

Весельчак и прирожденный лидер, он был к тому же неугомонно вербален: ему нужно было непрерывно всех и вся называть, описывать, нарративизировать и театрализовать; его пронзительный голос звенел, не умолкая. Меня он прозвал *Аяксом* (думаю, образцом ему служили номинации типа бендеровского *предводителя команчей*), но чаще прибегал к уменьшительному *Аяксик*. Он без стеснения трубил о своей (реальной) близости с чешкой — как и мы, соцлагерницей, но все-таки иностранкой, — что в те первые послесталинские годы было дерзким вызовом порядку. Однако не менее громогласно оповещал он окружающих и о моем — преимущественно воображаемом, причем больше им, чем мной, — романе с некой Наташей, окрещенной им *Наташей Баддингтон*. В результате ее имя звучало у меня в ушах поминутно и — в порядке законного исключения — оно одно приводится в этой виньетке, поскольку его носительница осталась прекрасной незнакомкой, и, значит, никаким неймдроппингом тут не пахнет.

Это была прелестная девушка, с нежным овалом лица, изящными манерами и вкусом в одежде, выделявшим ее из общей спортивной массы, — моя сверстница, и с ней мы однажды вечером оказались соседями в кинозале, где показывали черно-белый американский

фильм, из так называемых трофейных. Она мне ужасно понравилась, я стал на нее заглядываться, но был еще крайне стеснителен, и мои вздохи оставались безответными. Вскоре я отступился, однако ее образ прочно осел в моей душе и до сих пор способен, пусть несколько туманно, витать перед моим мысленным оком.

В фильме фигурировал некий нехороший юрист, представитель явно коррумпированной, сугубо семейственной адвокатской конторы «Баддингтон, Баддингтон, Баддингтон и Ко». Эту фамилию мой покровитель (по сути, старший брат, которого мне всю жизнь не хватало) и взял на вооружение. Она отлично запоминается сама по себе, а уж после его беспрестанных заклинаний («Куда ты спрятал Наташу Баддингтон?», «Как поживают Баддингтон и Баддингтон?», «Где Баддингтон и компания?» — и так по сто раз в день) отпечаталась у меня в мозгу навсегда. Название же фильма забылось. Пару лет назад я случайно наткнулся на этот фильм по телевизору, посмотрел его, и фамилия Баддингтон отозвалась в памяти привычным аккордом, но названия я не записал и опять не помню. Сейчас попробовал разыскать фильм онлайн — не получилось.

Жеребятины было много, о политике же речи практически не ходило. Стояла ранняя оттепель, до XX съезда и разоблачения культа личности оставалось больше года, и сам я был в высшей степени зелен. Помню, однако, что, почему-то проникшись ко мне доверием, наш лидер однажды поведал, что они, то есть истфаковцы, прекрасно знают, кто среди них стукач. Он его не назвал, и я, стараясь попасть в тон, кивнул, не переспрашивая, но был уверен, что понял, кто имелся в виду; промолчал тогда, не пишу и теперь, хотя полагаю, что это прочитывается.

Две недели в «Широком» пролетели быстро, мы разъехались и больше не виделись. Но стороной до меня доходили слухи, что мой рыжий покровитель арестован за участие в антисоветском кружке и сидит. Мне, при всем моем интеллигентском свободомыслии домашнего разлива, было до такого еще далеко, да и их раннее диссидентство, как я задним числом понимаю, тоже оставалось очень наивным, сводясь к добросовестным поискам подлинного марксизма-ленинизма. Наивным, но оттого не менее рискованным.

И вот теперь он, отбыв срок, вернулся и ехал к нам — как бы не только с другой вечеринки, но и чуть ли не прямо из лагеря. А о лагерях, в частности от будущего рязанского нобеляра, мы уже знали, оттепель то шла полным ходом, то отрезвляюще прерывалась заморозками, вроде разгрома выставки в Манеже.

Я ждал прихода моего знакомого с волнением. И вот он появился — не изменившийся ни на йоту, такой же рыжий, стремительный, звонкий. Меня узнал и с ходу спросил: «Баддингтон здесь?» Я отмахнулся и стал расспрашивать его, как же было в лагере, — он был первым моим, лично моим знакомым зеком.

— До меня сразу дошло, что надо давать норму, — сказал он, — чтобы не загнуться от голода. И я давал. А по вечерам учил вьетнамский.

Я был готов вбирать каждое его слово, но он заикливаться на этой теме не стал, включился в общую тусовку, что-то съел, выпил, и его голос зазвенел так же доминантно, как когда-то в «Широком».

Пробыл он у нас, однако, не долго. Быстро оглядевшись, он посмотрел рыжеволосую востоковедку, подсел к ней, и вскоре они уехали вместе, чему ее партнер, филолог-классик, воспрепятствовать никак не мог, ибо узнал об этом, лишь пробудившись под утро. Я же во все глаза наблюдал за молниеносным похищением Европы.

Была ли длительной связь двух рыжих восточников, не знаю. Во всяком случае, они не поженились; она, как уже говорилось, вышла за неотразимого математика, а его женой стало совсем уже ориентальное чудо: восточная красавица (и, конечно, востоковедка — специалистка по истории вьетнамско-камбоджийских отношений) с невероятным марксистским именем и редкостной советской биографией — дочь репрессированного в тридцатые годы вождя бурятских коммунистов, девочкой успевшая сфотографироваться на ручках у кремлевского горца. Через них (оба уже умерли, она больше десятка лет назад, он<sup>1</sup> совсем недавно, в мае 2016-го, в семьдесят три с половиной, — я мечтал с ним повидаться, но не вышло) я могу и себя считать вчуже породнившимся с лучшим другом детей и лингвистов.

*Санта-Моника, ноябрь 2016*

---

<sup>1</sup> См. <http://memory.pvost.org/pages/cheshkov.html>.